Книга с историей

Такие прелестные девочки!



Такие прелестные девочки!

Борис Степанович Житков, Аркадий Тимофеевич Аверченко, Клавдия Владимировна Лукашевич, Вера Сергеевна Новицкая, Надежда Александровна Лухманова, Лидия Алексеевна Чарская, Александр Иванович Куприн, Саша Чёрный

Аннотация
Такие прелестные девочки!
Аркадий Аверченко. День делового человека
Саша Чёрный. Жёлтый фургон
Клавдия Лукашевич. Получка
Надежда Лухманова. Отрывок из жизни
Александр Куприн. Пуделиный язык
Борис Житков. Девочка Катя
Аркадий Аверченко. Нянька
Вера Новицкая. Хорошо жить на свете!
Александр Куприн. Ю-ю
Лидия Чарская. Кошка

Аннотация

Ниночка, Анюта, Верочка, Катюша… Такие прелестные девочки! Их дни наполнены важными и неотложными делами. Накормить домашнего питомца и научиться разговаривать на пуделином языке, позаниматься с гувернанткой и поиграть с котёнком, встретить гостей и принять подарки, ну и конечно, побегать и посмеяться вволю… Столько хлопот! Они изящны и наивны, застенчивы и кокетливы, решительны и любопытны… Пожалуй, нет более изумительных созданий, чем они – девочки.

Такие прелестные девочки!



ДЕТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСТУТ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МЕНЯЮТСЯ И КАЖДОЕ УТРО ПРОСЫПАЮТСЯ НОВЫМИ ЛЮДЬМИ

Аркадий Аверченко
День делового человека

I

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на неё обрушился, пожалуй, самый тяжёлый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на неё преядовитый стихотворный памфлет [1].

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев её и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, — постереги, чтобы дождик не пошёл. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там…

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными

---

[1] Примечания: 1

Памфле́т — художественно-публицистическое произведение, создаваемое обычно для сатирического обличения политического строя, правительства, какой-либо партии или отдельных лиц.

сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох… Она кротко одёрнула на животе передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу» — и сошла на крыльцо, залитое тёплым золотистым солнцем.

Неподалёку от крыльца на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив её, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — «постеречь, не пошёл бы дождик», — один из трёх мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка, — приветствовал он её.

— Здравствуйте, — робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живёшь?

— Здесь и живу. Папа, тётя, сестра Лиза, фрейлен, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать, — покривился мальчик. — А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

– Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась…

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодяя, так порочившего её, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

– Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась…

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О боже, боже!.. За что? Кому она стала поперёк дороги, что её так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в её глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросёнок?! Она — подавилась грязью?! Где? Когда?

Сердце болело, как прожжённое раскалённым железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слёзы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Нинёнок» прекрасно рифмуется с «поросёнком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощёчины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдём, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов, [2] — а то эта плакса пожалуется ещё — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слёз лицом призадумалась. Итак, её оскорбителя зовут Колька… О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, — с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидела она так в тёмном углу передней, на сундуке, и сердечко её кипело обидой и жаждой мести.

---

[2] Примечания: 2

Клевре́т — приспешник, сообщник.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся её чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у неё на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних!

О, первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнёт Кольке в лицо, и кроткое личико её озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать её.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Тёплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трёх в восторг игру… Именно — каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутрь кольца, не задев пальцев, счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружал-

ся в увлекательную игру.[3]

Ниночка полюбовалась немного на происходящее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всём этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего… Ты только скажи, как тебя зовут?

У неё было такое простодушное, наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька, — прохрипел он.

— А-а-а… Колька…

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

– Колька-Колёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатился,
Подавился… грязью…

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытою дверь, а вслед ей донеслось:

---

[3] Примечания: 3

Арши́н — старинная русская единица длины, около 70 сантиметров.

— Дура собачья!

II

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из неё рукав.

— Няня, дождик не идёт.

— Ну и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.



КРОТКОЕ ЛИЧИКО ЕЁ ОЗАРИЛОСЬ НЕЗЕМНОЙ РАДОСТЬЮ

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо…

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обёртке, но, разглядев, кто пришёл, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть? Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щёки ещё не остыли после книги в розовой обёртке. Ей не до сестрёнки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну так вот что… Пойди посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола

лежит.

— Ну вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от неё хотят избавиться. Просто ей даётся ответственное поручение — вот и всё.

— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьёзно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь?..

— Хорошо…

С видом домовитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, даёт ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то… Папа сидит в комнате фрейлен, близко наклонившись к этой последней, держа её руку в своей руке.

При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преуве-

личенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет очей моих?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага… И хорошо, брат, сделала, потому они, животные эти, без пищи тово… Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну… пойди ты вот куда… Пойди ты… гм!.. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у неё. Она уроки учит.

— Вот как… Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлен, потихоньку гладит её руку и неопределённо мямлит:

— Ну, в таком случае… пойди ты к этой самой… пойди ты к няньке и погляди ты… чем там занимается вышесказанная нянька?

— Она что-то шьёт там.

— Ага… Да постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пёс будет сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, ещё вкати… Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызёт ли он ножку стола.

— А если грызёт, прийти и сказать тебе, да? —

глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как её… Лизе скажи. Это уже по её департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты её, значит, тово… Просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?


БАРБЕРЪ. ОБИЖЕННЫЯ.

«ТЫ СКОЛЬКО КУСКОВ ХЛЕБА ДАЛА ТУЗИКУ?» — «ДВА КУСОЧКА»

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызёт ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.

— Куда идти?

— Поди к папе. Спроси, что он делает?

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала; ему надо всё завтра рассказать…

— Ах ты господи! Что это за девчонка!.. Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усечённые пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегчённо вздыхая. — Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот ещё неприкаянный ребёнок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши:

что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет…

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что ж… пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный «красная шапка».[4]

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо смотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну, я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего.

— Чтоб сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

III

Целый день быстрые ножки Ниночки пере-

---

[4] Примечания: 4

Посыльных нанимали, чтобы отнести по адресу письмо или цветы, доставить домой покупки, присмотреть за экипажем и т. д. Своё прозвище «красная шапка» они получили из-за форменных фуражек красного цвета.

носят её с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И всё самые важные, неотложные.

Бедная «неприкаянная» Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тёти Веры, Ниночка находит настоящий приветливый приём.

— А-а, Ниночка, — бурно встречает её тётя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка… Ты меня слушаешь?

— Да, тётя. Слушаю.

— Вот что, милая… Ко мне сейчас придёт Александр Семёныч. Ты знаешь его?

— Такой, с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка… (тётя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка… сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь… Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлёшь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут, и больше никаких. Поняла?

* * *

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

— Нет, нет, она ещё посидит со мною. Правда, Александр Семёныч?

— Да пусть спать идёт, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови…

— Нет, нет, я её не пущу. Я её так люблю…

И судорожно обнимает тётя Вера большими тёплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку…


La Poupée
Vois comme elle est blanche la layette
De notre charmante poupette

ХЛОПОТ УЙМА, ПОРУЧЕНИЙ — ПО ГОРЛО. И ВСЁ САМЫЕ ВАЖНЫЕ, НЕОТЛОЖНЫЕ

А когда Александр Семёныч, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тётя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно…

* * *

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать: «А что, если и я помру? Кто тогда всё делать будет?»

Саша Чёрный
Жёлтый фургон

— Почему вы, мадемуазель, плачете? — спросил француз-городовой у маленькой девочки, стоявшей на перекрёстке улиц под платаном [5]в позе потерпевшей крушение мореплавательницы, выброшенной на необитаемый остров.

— Со мной случилось несчастье… — Заплаканные серые глаза робко смотрели на огромного полицейского, и слёзы быстро-быстро мелкими капельками покатились по щекам.

— Несчастье, мадемуазель? А вот вы мне расскажите, в чём дело, и никакого несчастья не будет.

— Школьники проходили мимо нашего отеля с музыкой… Я побежала за угол… Они так красиво шли в ногу, бум-бум! И опять за угол… И ещё за угол!.. Пока не заблудилась…

Городовой пожалел, что у него в кармане не было ни простыни, ни большой скатерти. Обыкновенным носовым платком таких слёз не осушишь.

---

[5] Примечания: 5

Платáн — род деревьев с густой кроной и большими лапчатыми листьями.

— Хорошо. Вы как раз натолкнулись на такого полицейского, который отводит по домам маленьких заблудившихся девочек. Но прежде всего давайте сядем, вон там скамья. Когда мы сядем, мы будем почти одного роста, и нам удобнее будет разговаривать. Как вас зовут?

— Нина.

— Очень красивое имя, мадемуазель. Сколько вам лет?

— Кажется, пять, — всхлипнула девочка.

— Превосходно. Самое главное мы знаем. Теперь перестаньте плакать и постарайтесь припомнить: на какой улице вы живёте.

Полицейский достал из-под толстого плаща толстую книжечку, в которой были бисерным почерком пропечатаны все улицы, все переулки, все бульвары Парижа, и бережно положил книжечку на колено.

— О, господин полковник! Я уже старалась припомнить, но как же я припомню, когда я не знаю названия нашей улицы? На углу нашего отеля была прибита синяя дощечка с названием улицы, но она так высоко прибита, что я не могла ничего разобрать… И потом, господин полковник, вы меня извините, я ещё не умею читать по-французски…



«КАК ВАС ЗОВУТ?» — «НИНА». — «СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?» — «КАЖЕТСЯ, ПЯТЬ»

— Вы очень любезны, мадемуазель Нина, но я ещё не полковник. Как называется ваш отель?

— Не знаю.

— С какого угла прибежали вы к платану?

— Не помню…

— Не было ли возле вашего отеля какого-либо большого здания, церкви, памятника? Подумайте хорошенько.

— Был. Против отеля стоял большой жёлтый фургон для перевозки мебели, но я думаю… что он уже уехал…[6]

Нина горько заплакала. Все дома в Париже одинаковые, последняя надежда на фургон и та лопнула.

Полицейский задумался.

— Как фамилия ваших родителей?

— Щербаченко.

— Как?

— Щер-ба-чен-ко.

— Какая первая буква?

— Ща.

— Гм… Такой буквы во французском алфавите

---

[6] Примечания: 6

Фурго́н — здесь: крытая конная повозка.

нет. Какой же вы национальности, мадемуазель?

— Раньше была марсельской, а теперь мы переехали в Париж.

— Да нет же. Турчанка вы, испанка или гречанка?

Нина обиделась:

— Турчанка! А ещё говорите, что вы полицейский, который отводит заблудившихся детей домой… Я русская! И мама моя русская, и бабушка… Щербаченко!

— Да, да. Извините, мадемуазель Нина. Только у русских бывают такие фамилии, которых по первой букве ни в одном алфавите не сыщешь. Надеюсь, что во время своей прогулки вы не перешли границы своего аррондисмана. Пойдёмте со мной в наш комиссариат, как-нибудь справимся уж с вашей фамилией. Напротив русский лавочник торгует, он нам поможет. А по фамилии и адрес ваш разыщем. Хорошо?[7]

В комиссариат? Ах, как испугалась маленькая русская девочка! Мама и бабушка ждут, тревожатся, ломают руки, выбегают к подъезду отеля и спрашивают всех прохожих: «Где Нина? Не видели ли вы Нины, пятилетней Нины Щерба-

---

[7] Примечания: 7

Аррондисма́н (*фр.* arrondissement) — городской округ, район.

ченко с синим бантом в волосах?» А Нина сидит в комиссариате, как бродяжка какая-нибудь… Справа и слева огромные полицейские кричат на неё, чтобы она не смела плакать, и пристают: какая первая буква твоей фамилии? Нет такой буквы «ща»! Боже мой, зачем она побежала за школьниками? Разве бабушка и мама не велели ей дальше угла никуда не бегать?..

— Не пойду! Не пойду! Не хочу в комиссариат… Отведите меня домой!

Полицейский вздохнул. Посмотрел на колотившие по скамейке маленькие ножки, на трясущийся на голове синий бант… Откуда у маленьких детей столько слёз берётся?.. Что же с ней делать?

А вокруг скамьи народ собрался: старушки с корзинками, любопытные школьники, собаки какие-то сочувственно обнюхивали Нинины коленки. И все сразу говорят, лают, дают советы. Кто-то сунул Нине в руку банан. До бананов ли ей, когда она потеряла место своего жительства!..

* * *

И вдруг на всю улицу грохот. Из-за угла выкатил огромный жёлтый фургон, серые кони, на козлах толстый француз в синем колпачке, какие

школьники носят.[8]

Нина всмотрелась и со всех ног бросилась к лошадям: едва полицейский успел её за юбочку назад отдёрнуть.

— Фургон, фургон!.. Тот самый фургон, который утром против нашего отеля стоял!

Полицейский поднял руку. Сытые серые кони, похожие на слонов, попятились назад и остановились. Весёлый кучер, конечно, всё знал: и название Нининой улицы, и название отеля…

Французы, улыбаясь, оборачивались. В самом деле смешно: огромный широкоплечий полицейский еле поспевает за маленькой пятилетней девочкой, которая его за руку вперёд тащит. Точно не он её, а она его ведёт.

— Вы зайдёте к нам, господин полковник? Пожалуйста, зайдите, мама и бабушка напишут вам по-французски мою фамилию… И потом у нас есть вишнёвка… Вы не знаете, что такое вишнёвка? О, это очень-очень вкусно! Только, пожалуйста, не говорите, что я так громко плакала, и что вокруг собрался весь Париж, и что вы хотели отвести меня в комиссариат…

— Хорошо, мадемуазель Нина… Только прошу

---

[8] Примечания: 8

Ко́злы — сиденье для кучера в передке повозки.

вас, не называйте меня полковником и не бегите так скоро, а то вы оторвёте мне руку.

Клавдия Лукашевич
Получка

I

— Маменька! Тебе шибко неможется? — с тревогой в голосе спросила маленькая девочка.

— Ох… Да… Всю голову разломило, тело горит, самоё так и трясёт… Руки и ноги ноют!.. — ответил слабый голос.

В углу на сундуке лежала женщина, около неё стояла маленькая девочка, трёпаная, в рваном платьишке. Сейчас было видно, что мать её больна: некому было даже белокурую головёнку пригладить. Комната, где они находились, была в подвальном этаже. Тёмная, сырая, холодная, с затхлым воздухом, она напоминала хлев. Во всех углах её шевелились люди; в одном углу кто-то храпел, в другом сидели две старухи и тихо переговаривались, в третьем шла перебранка: кто-то кого-то бранил. Один голос был грубый, хриплый, другой — визгливый. Это спорили хозяйка и жиличка.

— Из чего я буду печь-то топить, коли вы никто

денег не платите! Ну и мёрзните! Поделом вам! Вон Марфа обещала сегодня за угол отдать, а сама заболела… Вот и пиши пропало! Пропьёт её муженёк получку-то! Опять денег не отдадут. Разве мне легко с такой нищетой!

Больная зашевелилась, застонала и прерывающимся голосом проговорила:

— Да уж, плохо… Разве я рада, хозяйка… Бог, видно, наказал!

— Маменька!.. А, мама, тебе шибко неможется? — опять спросила девочка и погладила по лицу мать.

— Отстань! Чего привязалась! Неможется, конечно… Чего тут спрашивать? — сердито ответила больная.

Девочка притихла и всплакнула.

— Жиличка-то ещё пуще болеет оттого, что о муже беспокоится, — сказала вполголоса одна старуха другой.

— Что и говорить! Была бы здорова, встретила бы его и привела бы… И получка была бы цела, и хозяйке бы денежки отдали, и неделю сыты были бы! — прошептала другая старушка.

Девочка тревожно посмотрела на старух и на мать. Она слышала, что те говорили.

— Анютка, ты чего глазёнки-то на нас уставила?

Поди сюда, милушка, — сказала одна из старух, улыбнулась и поманила девочку к себе.

— Я так… ничего, — ответила та, но не пошла.

Мать её опять заворочалась, застонала… Девочка привстала на цыпочки и заглянула в лицо матери, с её губ готов был сорваться обычный вопрос, но она удержалась. Мать затихла и, видимо, задремала.

Хозяйка опять заспорила с кем-то, требуя денег.

— Тётенька, маменька заснула, кажется, — робко проговорила девочка, подбегая к полной женщине с красным носом, стоявшей у печки, дёрнув её за рукав, взглядом умоляя не шуметь.

— Прочь пошла! Что мне твоя маменька! — крикнула хозяйка. — Что вы мне, деньги, что ли, платите?! Твой батюшка опять пропьёт получку-то. А я сиди на бобах! Разве мне легко такую голь содержать?..

Девочка, как котёнок, шмыгнула в свой угол. Там она присела на пол и завозилась, выбирая из корзины какое-то тряпьё, спешно закутывая ноги, обматывая голову…

— Бабушка, дайте мне ваши башмаки надеть, — шёпотом попросила Анюта, подходя к той старухе, которая её раньше манила.

— У меня только один, а другой совсем пропал, оба нельзя надеть, Анюточка… Бери один. Да ты куда собираешься-то? — ласково спросила старушка.

— Так… — уклончиво отвечала девочка и прибавила: — Другой у меня есть: это мамина валенка! — Она показывала огромную стоптанную валенку.

— Да ты куда собираешься? — спросили обе старухи в один голос. — Уж не за отцом ли? Так смотри: на улице холодно… Замёрзнешь… И отец тебя приколотит… Не послушает он тебя… Сидика дома. Чего там…

Но девочка не послушала старух и усердно одевалась, накутывая всё, что могла достать.

Ей было на вид лет шесть-семь; по росту это был крошечный ребёнок, а по взглядам, по уверенным движениям — уже взрослый человек, немало видевший на своём веку горя и забот.

— И тяжёлое же житьё нашей Анютке. Не видит она красных дней: мать хворая, отец выпивает, — сказала одна из старушек, покачав головой. — Да, у господ-то такое дитя берегут, нежат… А у нас, в бедности, сама всё делает, да слава богу, если хлеб каждый день ест.

— Шустрая девчоночка… Умная. Она бы в хо-

рошей-то жизни что цветочек бы цвела, а тут хиреет, — подтвердила дугая старушка.

А та, о которой шла речь, быстро шмыгнула за дверь и, в башмаке на одной ноге, в валенке на другой, зашагала по тёмной улице, гулко шлёпая обувью, которая, казалось, была гораздо больше ребёнка.

II

Анюта не шла, а как будто летела. Было холодно, темно; резкий ветер дул ей в лицо. Но девочка бесстрашно и храбро шагала по тёмным, безлюдным улицам. Дорога была ей знакома: они с матерью не раз хаживали по ней. Вот уже она прошла знакомую лавку, завернула за угол, прошла мимо рынка, мимо длинных заборов.

Вдали в темноте вырисовывалось огромное здание с тремя длинными трубами; из труб валил дым и красиво вылетали искры; во всех окнах мелькали огоньки. Красиво, грандиозно выделялось это здание на тёмном фоне неба. Это была фабрика, где работал отец девочки. Там слышалось какое-то пыхтенье, шипенье и гул.

Вдруг в воздухе раздался резкий, пронзительный свисток. Анюта вздрогнула, запахнула кофту и прибавила шагу. В её встревоженной головёнке

мелькали мысли: «Сейчас рабочие кончили работу… Получают недельную получку… Пойдёт ли отец домой или выбранит её, прогонит, скажет: „Не суйся не в своё дело“? Пожалуй, ещё и прибьет». Маленькое сердце девочки билось и трепетало, как птичка в клетке. Вся она дрожала и замирала от холода, страха и ожидания. Ветер становился резче.


L.L.

ПО РОСТУ ЭТО БЫЛ КРОШЕЧНЫЙ РЕБЁНОК, А ПО ВЗГЛЯДАМ — УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Доро́гой ей стали попадаться женщины с детьми на руках и без детей. «Тоже за мужиками идут», — подумала Анюта.

Когда она вышла из переулка, глазам её представилась площадь и огромное фабричное здание. У ворот толпился народ. Это были большей частью женщины. У всех у них были грустные, тревожные лица; некоторые были с маленькими ребятами. На Анюту никто не обращал внимания. Конечно, думали, что она с матерью.

Из фабричных дверей стали выходить рабочие. И много тяжёлых, грустных сцен разыгралось тут. Женщины отнимали получку, просили вернуться домой; слышались слёзы и ссоры.

Анюта со страхом вглядывалась в толпу рабочих и даже приподымалась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Сердце её прыгало и колотилось с болью: «Нет, не послушает её отец. Он даже и мать-то не всегда слушает…»

Вдруг она услышала знакомый голос — говорил отец. Он шёл с товарищами. Быстрыми шагами направились они в противоположную сторону от их дома. Девочка даже руки прижала к груди; она хотела двинуться за отцом, но ей казалось,

что ноги приросли к земле, и тяжёлый башмак и валенка давили, тянули, не давали сделать шага.

Отец и компания рабочих, громко разговаривая, скрылись за углом. Анюта очнулась, решилась на что-то и рванулась за ними. Она скоро догнала их и дёрнула отца за рукав. Тот даже вздрогнул, обернулся и удивился.

— Анютка, ты что? Зачем ты пришла?

— Папенька, маменьке неможется…

— Ну, я знаю… Ведь не хуже, чем вчера?

— Не хуже… Пойдём домой.

— Ты иди, Анюточка, а я сейчас приду… Ишь ты, зазябла, дочурка… Иди, иди, — ласково сказал отец.

От ласковых слов Анюта расчувствовалась и стала фыркать носом. Она плаксиво говорила:

— Маменьке шибко неможется… она всё охает, трясёт её… Пойдём, папенька, домой.

— Что ты её слушаешь? Известно, твоя хозяйка её подослала… Гони её домой! — шёпотом сказал один из товарищей, с большой чёрной всклокоченной бородой.

— Иди, Анюта, иди… Я скоро приду.

Но девочка знала, как это бывает скоро, и настойчиво повторила:

— Маменька стонет, а хозяйка шибко ругается,

что за угол не отдали. Пойдём домой, папенька.

— Ну и пусть ругается. Отдадим всё, не сбежим. Ишь ты, девочка, замёрзла. Беги скорей домой! — строго сказал отец. — На вот тебе пятачок на гостинцы.

Анюта радостно схватила деньги и стала смелее. Она прямо потянула отца за рукав.

— Пойдём, папенька… Маменька тебя дожидает… А бабушки говорят, что ты загуляешь…

— Ступай ты домой. Тебе я говорю?! — уже рассердился отец. — Не загуляю… Я скоро приду… Так и скажи матери, стыдно ей тебя подсылать! — смягчённым тоном, видимо конфузясь, проговорил рабочий.

Но Анюта не отставала и назойливо твердила:

— Маменька меня не подсылала; пойдём домой, папенька.

— Ну, чего вы препираетесь?! Шлёпнул бы девчонку. Ишь пристала, точно банный лист, — громко и сердито сказал один товарищ.

— Пошла ты домой! — крикнул другой и толкнул девочку.

Она упала и заплакала. Отец вдруг рассердился.

— Ты чего ребёнка толкнул? Разве ты смеешь! Что она тебе сделала? Не твоя ведь дочь! Как ты

можешь этак делать?

— Надоела… Ноет, как немазаное колесо: «пойдём» да «пойдём». И ты, как баба, слушаешь. Тошно смотреть на вас! Дал бы ей тумака… Живо бы отстала.

— А ты разве можешь чужого ребёнка трогать? По какому такому праву ты её ударил? — заступился отец за дочь.

— Никто её не ударил… Толкнул легонько… Да ещё мало, надо бы посильнее. Не сахарная, не развалится. Такая дрянная пискунья!

— Пойдём, Анютка, домой! — вдруг решительно сказал рабочий, с презрением взглянув на товарища.

Анюта вся затрепетала от радости, вцепилась отцу в рукав и потянула его порывисто вперёд… Она рвалась идти как можно скорее, только сапоги ей мешали.

— Ты что же это с нами шутки шутить вздумал?! Сговорились… Обещал… А теперь вот как?! — сердито закричал товарищ с чёрной бородой, нагоняя приятеля и хватая его за пальто.

— Тише, тише! Не очень-то тебя боятся! — спокойно ответил тот, отстраняя его рукой. — Пойдём, Анютка… И то правда, жена больная лежит, получки ждёт… пойдём, дочушка! — сказал он

решительно и серьёзно.

Они пошли быстро, не оборачиваясь. Холодный ветер дул им в лицо, слышалось шлёпанье сапог Анютки; семеня своими ногами, она поминутно спотыкалась, едва поспевала за отцом, тяжело дышала… Но ей было так хорошо, так радостно. Она считала себя такой счастливой, и в голове её мелькало: «Как маменька обрадуется-то, не поверит… Что бабушки-то скажут? Удивятся».

Сзади них доносились громкая брань, угрозы…

— Ну, погоди же! Сочтёмся мы с тобой! Так хорошие товарищи не поступают… Нечестный ты человек! — кричали вслед.

— Ладно, отойдите… Не боюсь я ваших застращиваний… Уходитесь, когда проспитесь! — спокойно, как бы про себя, говорил рабочий.

Девочка же не могла слова выговорить от волнения.

Когда распахнулась дверь в подвал и на пороге появились дочь и отец, все были поражены как громом.

— Анютка, где ты… — хотела было крикнуть больная, приподнявшись на постели, но слова упрёка, злобы и тревоги замерли на губах.

Материнское сердце поняло, почувствовало всё и рванулось навстречу своей маленькой за-

щитнице.

Девочка с торжествующим видом, победительницей шла вперёд, ведя за руку своего слабого отца.

Две старушки-торговки, нагнувшись друг к другу, шептали одна другой на ухо:

— Молодец девочка. Привела-таки.

— Вот и хорошо, Иван Семёныч, что пришёл. Хозяйке-то твоей очень плохо было… Ишь, она сразу повеселела, даже приподнялась…

Больная села на постели, глаза её искрились слезами, и она крепко обнимала свою маленькую девочку:

— Ишь ты, замёрзла… Глупая ты моя… Глупая…

— Анютка, сбегай, дочушка, за кипятком… Мама, поди, чайку хочет, — сказал отец.

— Полно вам: ребёнок, поди, умаялся, устал… Дайте-ка я схожу! — предложила одна из старушек.

— И то правда, бабушка… Лучше я сам схожу.

— Куда тебе, батюшка, сиди ты дома, — тревожно ответила старушка. — В работе день-деньской, поди, устал. Анютка, давай мой сапог.

— Возьмите, бабушка, вот наденьте и нашу валенку.

— Ишь ты, как сапог-то мой стоптала… Он ещё был хороший, а теперь вон дыра сбоку…

— Ничего, зачиним! — ответил Иван.

Одевшись, старушка спросила:

— Не зайти ли в лавочку, не купить ли чего?

— Купите, бабушка, ситного два фунта, да сахару четвёрку, да варенья на пятачок. Вот скажу спасибо. Уж раскутимся сегодня.[9][10]

Когда через полчаса вернулась старушка с покупками, все были необыкновенно веселы. Около больной стоял стол и чашки. Все сели пить чай. Иван всё шутил с дочерью. За угол было заплачено. Хозяйка истопила комнату. Все сели пить чай и тихо беседовали… Анюта сияла и шалила. Она чувствовала себя счастливой. Бабушки её ласкали.

— Ишь, хозяйка-то твоя совсем ожила. Точно и больна не была…

— Ещё бы не ожить! Рада я… — ответила больная. — Неделю проживём без горя. Кабы всегда-то так. Ваня человек хороший, работящий… Слаб только… И друзья, товарищи сбивают.

---

[9] Примечания: 9

Си́тный — здесь: ситный хлеб, испечённый из просеянной через сито пшеничной муки.

[10] Примечания: 10

Фунт — старинная русская мера веса, равная 409,5 грамма.

— Полно тебе мужа-то расхваливать. Подожди, чтобы другие похвалили, — улыбаясь, ответил Иван.

А Анюта, посматривая кругом с гордостью, думала: «Это я привела домой отца-то!»



АНЮТА СИЯЛА И ШАЛИЛА. ОНА ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ

Надежда Лухманова
Отрывок из жизни

Фрагмент

Отца мы очень любили; бесспорно, любили и мать, но её мы побаивались: она всегда была слишком нарядна, не допускала нас ни бросаться ей на шею, ни теребить за платье, взыскивала за малейший беспорядок в туалете или за резкость манер. Но что стесняло нас больше всего — это её требование, чтобы мы говорили с ней по-французски, для чего ко мне каждый день на один час приходила гувернантка, занимавшаяся с мальчиками, и учила меня тем коротеньким, бессодержательным фразам, которыми умные дети здороваются, прощаются, благодарят и просят. Эти маленькие фразы сдерживали нас больше, чем всякие требования и наставления; по-французски нельзя было ни кричать, ни капризничать, ни вообще распространяться, поэтому мы, дети, всегда при матери умно молчали или повторяли, как попугаи, ответы, которые она сама за нас составляла на свои же вопросы; только Андрюша, всеобщий любимец и гордость,

немедленно переходил на русский язык и нередко увлекал за собой и нас до тех пор, пока строгая фраза «ne bavardes pas russe» [11]не заставляла нас прикусить язык. С отцом было совсем не то: встречая его в коридоре, приходя к нему в кабинет, мы вешались ему на шею, целовали лицо, волосы, требовали гостинцев, подарков до тех пор, пока он наконец не произносил:

— Ну, хорошо, я пошлю за мамашей, и всё, что она позволит, я сейчас же вам дам и сделаю!..

Андрей относился к этой фразе индифферентно, Федя [12]— спокойно, потому что во всём он был чрезвычайно благоразумен; у меня и у Ипполита обыкновенно падал весь энтузиазм: он, страшно трусивший матери, немедленно убегал, отказываясь от всего, я же закладывала руки за спину и укоряла отца:

— Если вы, папа´, хотите жаловаться маменьке, так я к вам и ходить не буду, я никому не жаловалась, когда вы раздавили мой золотой шарик.

Это был мой постоянный упрёк отцу, и хотя он всегда хохотал при этом воспоминании, тем не менее считал себя моим должником и откупался

---

[11] Примечания: 11
Не говорите по-русски (*фр.*).

[12] Примечания: 12
Индифферентно — равнодушно, безразлично.

всевозможными жертвами.

Дело в том, что бабушка привезла нам когда-то четыре летающих шара из тонкой резины, точно такие, как продают и теперь, но бабушкины были золочёные и произвели необыкновенный эффект. Все эти шары кончили самой разнообразной смертью: мой погиб раньше, чем я успела насладиться игрою с ним. Как только я получила его и нянька привязала к хвостику длинную нитку, позволявшую ему летать до самого потолка нашей очень высокой комнаты, в детскую вошёл отец.

— Ого-го, какой у тебя чудный шар! Кто тебе его подарил?

— Бабушка… А он, папа´, ужасно упрямый, ни за что не хочет сидеть на полу, — вот посмотрите.

Я притянула шар за ниточку, положила на пол и прижала рукой, но шар выскользнул и немедленно поднялся вверх.

— А вот хочешь, я сейчас сяду на твой шар и полечу к потолку?

Мысль, что мой отец, высокий, плотный, казавшийся мне громадным, вдруг сядет на шар и полетит на нём к потолку, привела меня, конечно, в восторг; я начала прыгать вокруг него и кричать:

— Не полетите! Не полетите! Вам будет страшно!..

— А вот увидишь, сейчас полечу! — Отец притянул шар и, придерживая его одной рукой, стал делать вид, что садится верхом. И вдруг, не удержавшись, отец как-то навалился на него, раздался страшный треск, и шара не стало.

Я начала топать ногами и кричать:

— Где же мой золотой шарик? Где золотой шарик?!

Няня, закрыв лицо передником, смеялась до слёз.

Когда отец, полетевший самым естественным образом вниз, а не вверх, встал, то полы его сюртука были местами позолочены, а на паркете лежал грязный свёрнутый комочек лопнувшей резины.

— Шар был гадкий, он лопнул; я куплю тебе другой… — смущённо сказал отец.

Но я, не желая признать в лоскутке резины моего шара, долго не понимала, куда он делся, и продолжала требовать мой, тот самый, на котором только что сидел папа´.

Отцу оставалось одно — идти к мальчикам и постараться купить у них шар, но — увы! — Андрей расстрелял свой шар, и он был в таком же состоянии, как и мой; шар Ипполита пропал

без вести, потому что Андрюша научил брата привязать шар на дворе к хвосту какого-то котёнка, а за первое покушение взять шар у Феди Марфуша так яростно набросилась на отца, «завсегда обижающего Хведеньку», что тот быстро ретировался снова ко мне, и мы помирились с ним на его обещании брать меня целую неделю в кладовые на выдачу провизии кадетам.[13]

В эти дни, стоило няне подойти к моей кровати и сказать: «Барышня, папенька идут в кладовую», как я вскакивала весёлая, без малейшей сонливости, быстро мылась и одевалась, пила своё молоко и затем нетерпеливо ждала у дверей, когда раздадутся шаги, и, по мере того как звук их приближался, лицо моё расплывалось улыбкой, а ноги нетерпеливо начинали топтаться на одном месте.

Отец входил, поднимал меня, целовал, затем брал за руку, и мы шли.

* * *

Как я любила отца!

---

[13] Примечания: 13

Каде́ты — воспитанники кадетского корпуса, закрытого начального военно-учебного заведения, сочетавшего подготовку к офицерской службе со средним общим образованием.

Его рука была широкая, большая и мягкая; я шла и изредка целовала её, прижималась к ней щекою, и когда поднимала при этом голову, то встречала большие, серые, всегда весёлые и ясные глаза.



Я ВСКАКИВАЛА ВЕСЁЛАЯ, БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ СОНЛИВОСТИ, БЫСТРО МЫЛАСЬ И ОДЕВАЛАСЬ…

В этих глазах было столько доброты, и в то же время там, в глубине, будто скрывался смех.

Потом, когда прошло много-много лет после этих прогулок по нескончаемым коридорам, когда отец, разбитый параличом (он жил более двадцати лет после первого удара), сидел в своём кресле и писал левой рукой письма и счета, я с моими детьми, его внуками, любила сидеть у его ног и, как прежде, держала в руках его руку, бессильную, парализованную и всё-таки старавшуюся лёгким пожатием выразить мне свою ласку. Я поднимала голову и видела те же ясные серые глаза, полные необыкновенной доброты.

Густые, вьющиеся волосы отца были рыжеватого оттенка, он причёсывал их на боковой пробор; брови были тёмные, так же как и короткие бачки; густые и мягкие усы закручивались колечками, бороды он не носил. Эта красивая голова сидела на короткой плотной шее. Роста отец был высокого, широк в плечах и несколько сутуловат. Доброта его была необыкновенная: отказать кому-нибудь в просьбе было для него гораздо тяжелее, нежели самому не получить просимого.

* * *

Проходя коридоры, сени, спускаясь по площадкам лестниц, мы наконец попадали в кладовые, около которых отца ждали какие-то люди. Тут начиналось сказочное царство бочек, мешков, ящиков, из которых отмеривалась и отвешивалась провизия, причём повторялась одна и та же процедура: я, заменяя соответствующую своему весу гирю, становилась на одну доску весов, с добавлением для необходимой тяжести настоящих гирь, красивых комочков с ушами, которые мне почему-то очень нравились, а на другую доску клали отвешиваемую провизию. Возвращалась я из этих ранних путешествий всегда с кармашками фартука, набитыми изюмом, миндалём, а иногда и стручками гороха или молодой морковкой. Все эти незатейливые лакомства в изобилии хранились в нашем люке у семихвостой крысы, но это было не то: это давалось мне отцом, давалось с такой особой лаской и любовью, причём дозволялось в мешки и кадки погружать голые до локтя руки и самой выбирать.

Няня знала, что после этих прогулок меня надо встречать с мокрой губкой, полотенцем и чистым передником, но никогда не сердилась за это.

Александр Куприн
Пуделиный язык

Семья Мурмановых жила уже шесть лет в Париже, выплеснутая туда Гражданской войной. Она состояла всего из двух человек: мужа и жены; детей им судьба не послала. Они очень обрадовались, когда, в начале седьмого года, собралась, после долгих письменных уговоров, и наконец в самом деле приехала к ним в Париж сестра Евгении Львовны, Ирина, с шестилетней дочкой Кирой.

Кирочка сначала дичилась в новой, чужой и непонятной для неё обстановке. Была она похожа на хорошенького дикого зверька, вроде ласки или горностаюшки, впервые вылезшего из родного дома на огромный свет божий. И любопытно, и забавно, и страшно. Зоркие глазки жадно смотрят, острые ушки чутко слушают, маленькое тельце дрожит от волнения. Но чуть раздастся скрип, чуть мелькнёт тень — зверёк свернулся и уже готов юркнуть в норку.

Дети каждый день растут, каждый день меняются и каждое утро просыпаются новыми

людьми.



БЫЛА ОНА ПОХОЖА НА ХОРОШЕНЬКОГО

ДИКОГО
ЗВЕРЬКА, ВРОДЕ ЛАСКИ ИЛИ ГОРНОСТАЮШКИ…

Кира весьма скоро огляделась, освоилась и обвыкла. Характер у неё был живой, предприимчивый, открытый и смелый. А тут ещё у неё нашёлся такой лёгкий товарищ, союзник и затейник, как дядя Аркадий: лучшего ей было не сыскать.

Её мама пожимала плечами и говорила в нос:

— Нет, Аркадий, ты мне Киру вконец испортишь. Пожалуйста, не смейся. Я серьёзно. Тебе не шесть лет, и ей не сорок, чтобы проказить вместе по целым дням!

Была она женщина высокого роста, строгая, рассудительная. Всё рассчитывала и знала наперёд. Как сказала, что приедет на полгода, так и прожила в Париже полгода, а потом уехала обратно в Россию. Там, видите ли, у неё осталось много дорогого: рояль, арфа, ноты, давние знакомства, любимый город, привычная квартира… Совсем ничего в ней не чувствовалось общего с младшей сестрой. Та вся состояла из доброты, ласки и очаровательной лени…

Дядя Аркадий и Кира не только тесно и нежно подружились, но от материнских выговоров стали как бы заговорщиками. Свой у них образо-

вался язык, свои маленькие секреты, пожалуй, своя особая жизнь.

Ну разве взрослые могли бы догадаться, что в этом милом и смешном союзе дядя Аркадий Васильевич потерял не только своё имя и отчество, но даже и родственное звание дяди? Для них двух, исключительно для них, он носил загадочное имя — Феофан.

Началось это с того, что однажды Аркадий прочитал девочке какие-то детские стишки. Они понравились. Прочитали ещё раз и ещё. Там, между прочим, были две смешные строчки:

С Феофаном шутки плохи:
Он не любит, если блохи.

Эти две строчки остались в памяти и так часто повторялись вслух, что взрослые вышли наконец из терпения.

— Да оставьте вы вашего дурацкого Феофана в покое. Надоели.

Но однажды, когда два друга, после обеда, сидели в своём любимом, уютном уголке, на широчайшем кожаном диване в гостиной, Кира вдруг вытаращила глаза — чёрные бусинки — и спросила:

— А почему он не любит, если?..

— Не знаю. Такой уж он непонятный человек.
— А ты его видел?
— Каждый день вижу.
— Где?
— У нас дома.
— А я его видела?
— Всегда видишь.
— А теперь?
— И теперь.

Кира закусила нижнюю губку. Потом спросила доверчивым шёпотом:

— Скажи, может быть, ты сам и есть Феофан?

Дядя нагнулся совсем близко к её маленькому ушку и еле слышно шепнул:

— Да, Кирочка. Это я — Феофан. Только «им» не надо знать. Пусть это будет между нами тайна. Понимаешь?

Чёрные глаза девочки засияли от восторга.

— Да, да. Никому! Никогда. А ты мне позволишь звать тебя потихоньку Феофаном?

— Хорошо. Зови. Но только помни…

— О да! Мы потихоньку… От них секрет?

— Страшный секрет.

— Страшный?

— Да.

Новоявленный Феофан высоко поднял брови и

низко опустил их.

— Ах, мой милый, собственный Феофан! Дай я тебя крепко поцелую. Вот так.

Что за прелесть, когда между двумя друзьями, большим и маленьким, есть тайна, да ещё и страшная. Чудо! Для всего света они были Аркадий Васильевич и Кира и лишь только наедине — Кира и Феофан.

Таких дружеских интимных делишек у них водилось много, и обоим им от них было удовольствие и радость. Точно жили они, совсем отгородившись от взрослых. Но самым увлекательным было то время, когда они научились говорить на языке чёрных пуделей!

Каждый день перед завтраком они ходили вдвоём гулять по аллеям и холмам того большого сквера, который разбит у подножия театра Трокадеро. На обратном пути заходили в магазины. Иногда покупали на улице дешёвые, но пресмешные парижские игрушки или воздушный шар.[14]

Каждый раз, выходя на прогулку, они заставали против ворот на мостовой старенькую зелен-

---

[14] Примечания: 14

Трокадеро́ — район в Париже, расположенный по правому берегу реки Сены, напротив Эйфелевой башни и Марсова поля.

щицу. У неё была небольшая ручная тележка, нагруженная капустой, салатом, пучками моркови, свёклы и порея, связками петрушки. К тележке сбоку был обычно привязан большой лохматый чёрный пудель. Он яростно лаял, кидаясь на всех проходящих, после отдыхал, стоял, умильно щуря глаза, дрожа высунутым красным языком и часто дыша, а потом опять принимался лаять. Когда же зеленщица перевозила свою тележку с места на место, пудель влезал грудью в постромку и изо всех своих собачьих сил помогал хозяйке.[15]

— Милый Феофан, — сказала однажды Кира, глядя на собаку. — Я догадалась, почему пудель так лает. Он голодный и просит покушать.

— Возможно. Давай пойдём на кухню, посмотрим для него чего-нибудь, — согласился Феофан.

Нашли кусок вчерашнего пирога с мясом. Снесли на улицу и дали пуделю. Собака вмиг его проглотила и в знак благодарности залаяла отчаянно-весело.

Так у них с этого дня и повелось: идя на прогулку, непременно захватить с собою угощение для собаки. Старушка этому не препятствовала.

---

[15] Примечания: 15

Постро́мка — толстый ремень, составляющий боковую часть конской упряжи; лямка.

Как-то даже сказала Кире:

— Приласкайте его, малютка. Он очень добрый и умный.

Кира погладила пуделя. Он запрыгал на цепи и завизжал от восторга.

Случилось, что Мурманов был занят срочным делом и гулять с Кирой ему было некогда.

— Как же так, — протянула Кира надутым голосом, прижимаясь к дяде. — Как же так, Феофан? Ведь пудель на нас обидится.

— Не могу, никак не могу, Кирочка… Впрочем, ты когда пойдёшь гулять с горничной, так возьми на кухне какую-нибудь косточку и снеси ему. Кстати, и от меня поклонись.

— Мне одной неловко, без тебя, Феофан!

— Иди, иди, милая девочка… Я не могу оторваться от работы…

Через два часа, погуляв, Кира вернулась домой. Дядя окончил занятия и ждал её.

— Ну что, Кира? — спросил он. — Отдала косточку?

— Да, Феофан. Он был очень доволен.

— Что же он сказал?

— Он сказал… Знаешь, Феофан, он ничего не сказал.

— Ни слова?

— Ни слова.

— Как же это так? Странно.

— Правда, странно?

— Н-да. Удивительно. Что же он делал?

— Ничего. Только хвостом помахал.

— Ага! Хвостом? Да это же и есть, Кира, пуделиный разговор. Пудели только хвостом и разговаривают.

— Хвостом? Правда, Феофан?

— Истинная правда. Ну, покажи-ка, как он сделал хвостом?

Кира быстро прочертила в воздухе указательным пальцем три длинные линии.

— Так, так и так.

Феофан обрадовался и захохотал.

— Как же ты не поняла, Кирочка? Это значит: «Благодарю тебя, Кира».

— А потом он ещё замахал. Так, так, так, так и так.

— Очень просто: передай от меня поклон Феофану.

— Ах, как прекрасно! Феофан, а я умею говорить по-пуделиному?

— Умеешь, Кирочка. «Они», конечно, не умеют, а мы с тобой будем свободно разговаривать.

— Да? В самом деле? Ужасно хорошо! Ну вот,

например, что я сейчас сказала?

Она с увлечением начертила в воздухе несколько невидимых линий.

— Очень ясно: «Феофан, принеси мне сегодня вечером шоколадок». Верно?

— Не совсем, Феофан. И эклерку.

— Ах, правда, ошибся. Шоколадок и пирожное эклер.

— Вот, это так. А теперь скажи ты что-нибудь.

— Изволь. Раз, два, три, четыре. Поняла?

— Поняла. Это значит: «Будем всегда говорить по-пуделиному, а нас никто из „них“ не поймёт».

— Да. Ну, однако, пойдём завтракать, Кира, а то «они» рассердятся…

С тех пор и вошёл у Феофана с Кирой в моду пуделиный язык. Оказалось, что на нём было говорить гораздо удобнее и приятнее, чем на человеческом, а главное, этот язык богаче, чем человеческое слово. На нём было возможно передавать вещи, совсем недоступные человеческим средствам.

Взрослые скоро обратили внимание на эти таинственные беззвучные переговоры.

Раз за обедом Ирина Львовна сказала в нос:

— Аркадий и Кира, что это вы всё тычете пальцами в воздух? Что за новое дурацкое занятие?

Аркадий, под очками, широко и удивлённо раскрыл глаза.

Кирочка же сказала, сделав губки трубочкой:

— Я ничего, мама, я так себе, играла только.

И она обменялась с Феофаном быстрым лукавым взглядом.

Тётя Женя добродушно рассмеялась.

— Я на днях возвращалась домой и вдруг вижу картину. Стоят они оба, Аркадий и Кира, перед собакой… Знаете, тут у зеленщицы есть такой чёрный пудель? Стоят и делают пальцами какие-то заклинания. Я подумала, уж не с ума ли они оба сошли или, может быть, разговаривают на собачьем языке?

Но Кира возразила с усиленной наивностью и с упрёком:

— Тётя Женя, разве же пудели разговаривают? Как тебе это в голову пришло?

И опять два мгновенных, искрящихся смехом взгляда.

— Аркадий, Аркадий, — вздохнула Ирина Львовна. — Совсем ты мне испортил вконец мою Киру. Что я с ней буду делать в Петербурге?

Твёрдый был характер у Ирины Львовны, а слово её — крепче алмаза. Как порешила покинуть Париж поздней осенью, так и стала в начале

октября собираться в дальнюю дорогу. Ни милое гостеприимство Мурмановых, ни уговоры Аркадия Васильевича, ни просьбы тёти Жени, ни Кирочкины слёзы не переломили её сурового решения. Вышло даже так, что уехала она с Кирой на три дня раньше, чем сама назначила. Причиною этой спешки был всё тот же удивительный пуделиный язык.

Приехала однажды к Мурмановым очень важная знакомая барыня, Анна Викентьевна (для неё нарочно были заказаны к обеду устрицы, лангусты, дичь и цветы — она любила изысканный стол). Была эта дама очень, даже чрезвычайно полна (Кирочке всё хотелось обойти её кругом: сколько выйдет шагов, — но не осмелилась). На груди у неё не висела, а лежала, как на подушке, большая брошка из синей эмали с золотом. Когда Анна Викентьевна говорила, то брошка подпрыгивала у неё на груди, а говорила она много, быстро, громко, без передышки и других не слушала.

За обедом Кире было скучно: говорила дама всё про взрослое, про неинтересное. Потом она обиделась: Феофан, против обыкновения, совсем не уделял ей внимания. Он не отводил глаз от Анны Викентьевны и только в такт её речи то кивал,

то покачивал, то потряхивал головой, выражая то удивление, то сочувствие, то согласие. А Кире уже давно не терпелось задать ему один очень важный и неотложный вопрос и, конечно, на пуделином языке. Поэтому, пользуясь редкими секундами, когда лицо Феофана случайно обращалось в её сторону, Кира принималась быстро чертить пальцем ломаные линии, но из осторожности делала это в самом уменьшённом виде, на пространстве между носом и подбородком.

И вдруг, позабыв всякую сдержанность, она сказала громко, с огорчением и упрёком:

— Да дядя же Аркадий! Я тебе всё говорю, а ты всё не видишь. Смотри! — И она проворно начертила: — Раз, два, три, четыре, пять.

— Оставь, Кирочка, — отмахнулся рукой Мурманов. — Потом когда-нибудь. Теперь я ничего не понимаю. И не время.

Кирочка потеряла душевное равновесие и точно с горы покатилась:

— Нет, время! И ты отлично понимаешь. Я тебя спрашиваю: почему у этой толстой тёти на груди прицеплена синяя тарелочка? Чтобы ей суп не капал на платье? Да?

Все замолкли, опустив глаза на скатерть. Наступила тишина. Наконец Анна Викентьевна

сказала необычайно нежным, но дрожащим голосом:

— Какая милая девочка! Какая острая и воспитанная! Она у вас далеко пойдёт.

При этом лицо у неё было цвета тёмного кирпича.

Обед закончился не особенно весело, и после него дама очень скоро уехала. Ну и попало же обоим — и дяде и племяннице — от Ирины Львовны за пуделиный язык! Дядя Аркадий был умный и хитрый: он всё помалкивал, а Кира сорвалась и нагрубила:

— И ничего я дурного не сделала. С подвязанной тарелкой вовсе удобнее, чем с салфеткой, а дама твоя глупая, толстая и противная. Вот тебе!

На это последовал краткий военный приговор:

— В угол носом. Марш!

И рука мамы, с вытянутым пальцем, указала место наказания.

— И пойду! — отрезала Кира, мотнув стриженой головёнкой. — А твоя дама — дура!

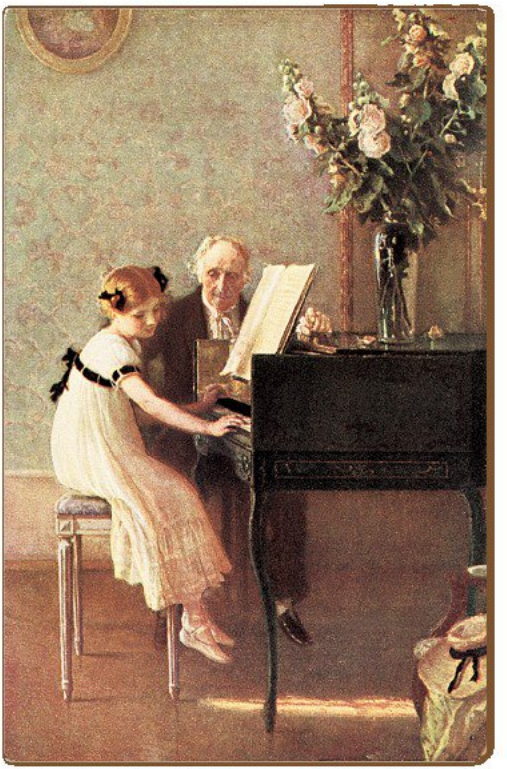
В гостиной, между шкафом и любимым кожаным диваном, где стояла «в угол носом» Кира, было полутемно, свет проникал туда из столовой. Неразборчиво доносились до Киры из тётиной комнаты голоса старших: сердитый мамин, спо-

койный дяди Аркадия, лениво-ласковый тёти Жени. Потом взрослые затихли. Чьи-то осторожные шаги послышались в гостиной. Подошёл дядя Аркадий и молча стал рядом с Кирой, которая уже успела наплакаться.

— Что, Феофан? — прошептала девочка.

— Да вот, пришёл постоять с тобою в углу носом. Обое мы виноваты: и я и ты.

Кира глубоко, в несколько раз, вздохнула, как всегда вздыхают дети после слёз.



НУ

И ПОПАЛО ЖЕ ОБОИМ — И ДЯДЕ И ПЛЕМЯННИЦЕ

— Мама очень сердитая?

— Нет, ничего. Отошла. Только, вместо субботы, собирается ехать завтра.

Девочка просунула ручку под дядин локоть и прижалась к нему.

— Мне жалко тебя, Феофан. Мне тебя очень жалко. Давай в последний раз поговорим по-пуделиному. Ну, смотри, что я написала на стенке?

— Знаю. «Феофан, ты обо мне будешь всегда помнить?»

— Верно. Теперь ты пиши…

— Зачем писать? Ты и так знаешь, что никогда не забуду.

— Ну, будет вам, дети, шушукаться, — послышался сзади спокойный голос Кириной мамы. — Идите на воздух, прогуляйтесь немного. Завтра рано вставать.

Так и уехала Кира, славная девочка, буйная голова, доброе сердце, знаток пуделиного языка. Дядя Аркадий очень был огорчён разлукой, но держался крепко, как настоящий мужчина. Только осунулся и побледнел немного.

Спустя некоторое время встретился он на улице с одним своим приятелем. Встречи их в громад-

ном Париже были редки, но радостны для обоих. Как и всегда бывало в этих случаях, зашли они в испанскую бодегу (род маленького трактира) и спросили себе по рюмке хереса. И ещё у них было привычное обыкновение: подготовлять друг для друга редкие строки из неисчерпаемого Пушкина, которого они оба любили всей душою.

Приятель Мурманова читал торжественным голосом:

– Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут – и так оставят:
Стамбул заснул перед бедой.

Но тут и обожаемый Пушкин не помог, и душевный разговор не вязался.

Уже настало время проститься. Замолчали. И вдруг Мурманов голосом, проникнутым глубокой печалью, произнёс:

— Бедный я, одинокий я Феофан!

Приятель поднял голову. В голубых глазах Мурманова, под стёклами, дрожали слёзы.

— Аркадий Васильевич, милый, что с вами?

Вот тут-то Феофан и рассказал мне всю эту историю, которую, в неполном и несовершенном

виде, передаю здесь.

Борис Житков
Девочка Катя

Девочке Кате захотелось улететь. Своих крыльев нет. А вдруг есть на свете такая птица — большая, как лошадь, крылья, как крыша. Если на такую птицу сесть, то можно улететь через моря в тёплые страны.

Только птицу надо раньше задобрить и кормить птицу чем-нибудь хорошим — вишнями, например.

За обедом Катя спросила папу:

— Есть такие птицы, как лошадь?

— Не бывает таких, не бывает, — сказал папа. А сам всё сидит и читает газету.

Увидала Катя воробья. И подумала: «Какой чудак таракан. Была бы тараканом, подкралась бы к воробью, села бы ему между крыльев и каталась бы по всему свету, а воробей бы и не знал ничего».

И спросила папу:

— А что, если таракан на воробья сядет?

А папа сказал:

— Клюнет воробей и съест таракана.

— А бывает такое, — спросила Катя, — что орёл схватит девочку и понесёт к себе в гнездо?

— Не поднять орлу девочку, — сказал папа.

— А два орла понесут? — спросила Катя.

А папа ничего не ответил. Сидит и газету читает.

— Сколько орлов надо, чтобы понести девочку? — спросила Катя.

— Сто, — сказал папа.

А на другой день мама сказала, что орлов в городах не бывает. А по сто штук вместе орлы никогда не летают.

И орлы злые. Кровавые птицы. Поймает орёл птичку — разорвёт в кусочки. Схватит зайца — и лапок не оставит.

И Катя подумала: надо выбрать добрых белых птичек, чтобы жили дружно, летали бы стаей, крепко летали и махали бы широкими крыльями, белыми перьями. Подружиться с белыми птицами, таскать от обеда все крошки, не есть конфет два года — всё отдавать белым птичкам, чтоб птички полюбили Катю, чтобы взяли её с собою и унесли бы за море.

А в самом деле — как замашут крыльями, захлопают целой стаей — так что ветер подымется и пыль по земле пойдёт. А птички выше, зажуж-

жат, захлопочут, подхватят Катю… да так за что попало, за рукава, за платье, пусть даже за волосы схватят — не больно — клювиками схватят. Подымут выше дома — все смотрят — мама крикнет: «Катя, Катя!» А Катя только головой закивает и скажет: «До свиданья, я потом приеду».

Наверное, есть такие птицы на свете. Катя спросила маму:

— Где узнать, какие бывают птицы на всём свете?

Мама сказала:

— Учёные знают, а впрочем — в зоосаде.

Гуляла Катя с мамой в зоосаде.

Ну их, львов — и не надо обезьянок. А вот тут в больших клетках птицы. Клетка большая, и птичку еле видно. Ну, это маленькая. Таким и куклы не поднять.

А вот орёл. Ух, какой страшный.

Орёл сидел на сером камне и рвал по клочкам мясо. Кусит, рванёт, головой повертит. Клюв — как клещи железные. Острый, крепкий, крючковатый.

Совы сидели белые. Глаза — как большие пуговки, мордочка пушистая, а в пуху крючком спрятан острый клюв. Ехидная птица. Хитрая.

Мама говорит: «Совушка, совушка», — а паль-

чика ей не сунула.

А вот птички — и не знает Катя — может быть, попугайчики, беленькие, крылышки отточенные, машут, как веерами, носики длинненькие, летают по клетке, усидеть не могут и все ласкового цвета.



И КАТЯ ПОДУМАЛА: НАДО ВЫБРАТЬ ДОБРЫХ

БЕЛЫХ ПТИЧЕК, ЧТОБЫ ЖИЛИ ДРУЖНО…

Мама за руку дёргает. «Пойдём», — говорит. А Катя плачет, топает ногой. Видит ведь: те самые птицы, белые, добрые, и крылья большие.

— Как они называются?

А мама говорит:

— Не знаю я. Ну птицы как птицы. Белые птицы, одним словом. А главное, обедать пора.

А дома Катя придумала.

А что придумала — никому не сказала.

Взять коврик, что висит над кроватью, и к этому коврику пришить по краям толстой ниткой конфеты, семечки, косточки, бусинки — весь-весь коврик кругом обшить, и белые птички схватят, замахают белыми крылышками, дёрнут клювиками за ковёр.

А на ковре лежит Катя. Лежит, как в люльке, и птички её любят, и всех птичек триста, все кричат, все наперебой хватаются, несут, как пушинку. Выше крыши над всем городом. Все внизу стоят, головы забросили. «Что, — говорят, — что такое?» Выше дерева подняли. «Не бойся, — кричат птички, — не пустим, ни за что не пустим. Держите крепче!» — кричат птички.

А Катя растянулась на коврике, и ветром воло-

сы треплет. Облако навстречу. В мягкое облако влетели птички. Обвеяло облако и в самое синее небо — всё кругом синее — и всё дальше, дальше. А там далеко, а там далеко осталась мама, плачет от радости: «Катеньку нашу птички как любят — с собой взяли. Тоже как птичку».

А потом за море. Внизу ходит море и синие волны. А птицы ничего не боятся. «Не уроним, — кричат, — не уроним!» И вдруг стало тепло-тепло. Прилетели в тёплые страны.

Там всё тёплое, и вода, как чай, тёплая, и земля тёплая. А трава совсем мягкая. И нигде нет колючек.

С этого дня Катя каждое утро клала за окно на подоконник сухарики, корочки, сахар. Била сахар на кусочки, раскладывала рядышком на подоконнике. Наутро ничего не было.

Птички знают — они ночью хватают, а днём, наверное, подглядывают: видят, что Катя их любит и своих конфет не жалеет.

Настало время. Покатились по небу тучи. Мама достала из корзины калоши. Катя сорвала со стены коврик — дошивала последние нитки. А птички ждали за крышей и тайком подглядывали — скоро ли постелет Катя свой коврик. Катя постелила коврик в комнате, легла и примерилась.

— Это что за фокусы, — сказала мама, — днём на полу валяться?

Катя встала и сразу заплакала. Мама схватила коврик.

— Это что за нитки? Это что за гадость — конфетки, объедки.

Катя заплакала ещё сильней. А мама рвёт нитки, ругается.

Катя подумала: «Расскажу — может, лучше будет». И всё рассказала.

А мама села на ковёр и сказала:

— А ты знаешь, бывают птицы во´роны. Видала: чёрные, носы, как гвозди, долбанёт носом — и глаз вон. Они злые, цыплят таскают. Налетят на твоих белых птичек, как начнут долбить злыми носами — вправо, влево, по пёрышку растаскают всех птичек. Из самой высоты, с самого верху полетишь ты, как кошка из окошка.

Утром рано прыгнул кот на кровать к Кате и разбудил. Катя кота не скинула, а сгребла платье со стула под одеяло, всё, всё: и чулки, и подвязки, и башмаки. Стала под одеялом тихонько одеваться. Чуть мама шевельнётся — Катя голову на подушку, а глаза закроет.

Наконец оделась, тихонько слезла на пол. Надела шапку, натянула пальто, взяла в кухне хлеба

— потом тихонько без шуму открыла дверь на лестницу и пошла по лестнице. Не вниз, а вверх. На третий этаж, на четвёртый этаж, на пятый этаж и ещё выше. Вот тут чердак начинается, а окно на крышу безо всяких стёкол. Из окна мокрый ветер дует.



И У КАТИ НА ГОЛОВЕ ЦВЕТОЧКИ И НА ПЛАТЬЕ ЦВЕТОЧКИ…

Катя полезла в окно. Потом на крышу. А крыша была скользкая, мокрая. Катя полезла на животе, руками хваталась за железные рёбра, долезла до самого верху и села верхом на крышу у самой трубы. Накрошила хлеба, разложила и справа и слева и сказала себе:

— Буду сидеть, не шевелиться, пока не прилетят птички. Может быть, они меня и так возьмут. Я их очень начну просить. Так очень, что запла´чу.

Мелкий дождик с неба шёл, закапал всю Катю. Прилетел воробей. Посмотрел, посмотрел, повертел головкой, посмотрел на Катю, пискнул и улетел.

— Это он ко мне прилетал, это его птички послали посмотреть: ждёт ли Катя. Полетит теперь и скажет, что сидит и ждёт.

«Вот, — думает Катя, — я закрою глаза, буду сидеть, как каменная, а потом открою, и кругом будут всё птицы, птицы».

И вот видит Катя, что она не на крыше, а в беседке. А к беседке прилетают птички, в клювиках цветочки — всю беседку усаживают цветочками. И у Кати на голове цветочки и на платье цветочки; а в руках корзинка, в корзинке конфеты, всё,

что надо в дорогу.

А птицы говорят:

— По воздуху ехать страшно. Ты поедешь в коляске. Птицы запрягутся вместо лошадей, а тебе ничего не надо делать — ты сиди и держись за спинку.

Вдруг слышит Катя — гром раздался. Скорей, скорей летите, птички, гроза сейчас будет.

Птички машут изо всей силы крыльями, а гром сильней, ближе — и вдруг Катя слышит: «Ах, вот она где».

Катя открыла глаза. Это папа идёт по крыше. Идёт согнувшись — и гремит, хлопает под ним железо.

— Не шевелись, — кричит папа, — упадёшь.

Ухватил папа Катю поперёк живота и пополз с крыши. А внизу стоит мама. Руки под подбородком сжала, и из глаз капают слёзы.

Аркадий Аверченко
Нянька

I

Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решётку дачного сада без всякой определённой цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить, — Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».

Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи… Пил он, развратничал и дрался всегда с тем расчётом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется,

когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрёкся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью всё время держать их в состоянии хронической тошноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.

II

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зелёная скамейка. Саматоха утёр лоб рукавом, уселся на неё и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймлённую свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:

– Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине…

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:

— Чьи это ноги?

Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперёд и стал в свою очередь рассматривать девочку.

— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и её громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.

— Это твои… ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.

— Мои.

— А что ты тут делаешь?

— Кадрель танцую, — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.

— А чего же ты сидишь?

Чтобы не напугать зря ребёнка, Саматоха проворчал:

— Не просижу места. Отдохну да и пойду.

— Устал? — сочувственно сказала девочка, подходя ближе.

— Здорово устал. Аж чертям тошно.

Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку:

— Позвольте представиться: Вера.

Саматоха брезгливо пожал её крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:

— Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.

— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха. — Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.

«Что с неё толку! — скептически думал Саматоха. — Ни серёжек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберёшься».

— Смотри, какая у неё в боке дырка, — показала Вера.

— Кто же это её пришил? — спросил Саматоха на своём родном языке.

— Не пришил, а сшил, — поправила Вера. — Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.

— Эх ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу.

Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.

III

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:

— Кто это?

— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе…

— Ну?! А нянька?

— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернётся к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.

— К какому приказчику?

— Не знаю. У неё есть какой-то приказчик.

— Любовник, что ли?

— Нет, приказчик. Слушай…

— Ну?

— А тебя как зовут?

— Михайлой, — ответил Саматоха крайне неохотно.

— А меня Вера.

«Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Саматоха, смягчаясь… — Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?

— А ну, покажи, — взвизгнула восторженно девочка.

— Ну, ладно. Дай-кось руку… Ну вот, видишь — ладошка. Во… Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.



ИЗДАЛИ ДОНЕСЛИСЬ ЧЬИ-ТО ГОЛОСА

— А ну-ка! Ни за что не угадаешь.

Саматоха сделал вид, что напряжённо рассматривает руку девочки.

— Гм! Сдаётся мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?

— Вер-р-р-но! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге. — А ну-ка, на ещё руку, скажи, когда мама именинница?

— Эх ты, дядя! Нешто это по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требовается.

— Да мама сказала: в шесть часов приедет… Ты подождёшь?

— Там видно будет.

Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окончательно, самыми крепкими узлами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребёнка извилист, прихотлив и неожидан.

— Давай ещё играть… Ты прячь куклу, я её буду искать. Ладно?

— Нет, — возразил рассудительный Саматоха. — Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идёт?

План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишний гость, и она будет его угощать!

— Ну, пойдём, пойдём, пойдём!

— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?

— Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!

Глазёнки её сверкали, как чёрные бриллианты.

IV

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подпёрла рукой щёку и затараторила:

— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные!»

— Да ведь котлет нет, — возразил практический Миша.

— Да это не надо… Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!

— Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?

Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.

— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца варёные.

— Ну что ж делать — тащи. А попить-то нечего?

— Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты небось и пить-то не будешь. Водка.

— Тащи сюда, поросёнок! Мы всё это по-настоящему разделаем. Без обману.

V

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его.

— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.

Она помолчала, выжидая реплики.

— Ну?

— Что ну?

— Что ж ты не говоришь?

— А что я буду говорить?

— Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».

В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запи-

хивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:

— Благодарю вас… пирог знаменитый!

— Нет: замечательный!

— Ну да. Замечательный.


Добрая хозяйка
да жирныя щи
другаго добра не ищи!

«ПОЖАЛУЙСТА, КУШАЙТЕ. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, БУДЬТЕ КАК ДОМА»

— Выпейте ещё рюмочку, пожалуйста. Без четырёх углов изба не строится.

— Благодарю вас, водка замечательная.

— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.

— Благодарю вас, курица замечательная, — прогудел Саматоха, подчёркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.

— В этом году лето жаркое, — заметила хозяйка.

— Благодарю вас, лето замечательное. Я ещё баночку выпью.

— Нельзя так, — строго сказала девочка. — Я сама должна предложить… Выпейте, пожалуйста, ещё рюмочку… Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка; не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

— Ну, достаточно, — сказал он. — Сыт.

— Ах, вы так мало ели!.. Скушайте ещё кусо-

чек.

— Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.[16]

— Миша, Миша, — горестно воскликнула девочка, с укоризной глядя на своего большого друга. — Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»

— Ну, ладно, ладно… Увольте, много благодарен. Дай-ка папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.

— Вот эти сигары я покупал в Берлине, — сказала она басом. — Крепковатые, да я других не курю.

— Мерси вам, — сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:

— Миша! Знаешь во что давай играть?

— Во что?

— В разбойников.

---

[16] Примечания: 16

Каните́ль — тонкая металлическая нить для вышивания, обычно золотая или серебряная; в переносном смысле — длительное, однообразное и нудное дело.

VI

Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.[17]

— Как же мы будем играть?

— Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.

— Какую Марфушку?

— Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.

— Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.

— Какой пассажир?

— Ну… этот вот… которого грабят. Он не должен сначала прятаться.

— Да ты ничего не понимаешь, — вскричала хозяйка. — Я должна спрятаться.

Хотя это было искажение всех разбойничьих приёмов и традиций, но Саматоха и не брался

---

[17] Примечания: 17

Профана́ция — искажение, оскорбление чего-либо невежественным обращением.

быть их блюстителем.

— Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?..

— Зачем?

— А чтоб я мог у тебя отнять.

— Так это можно нарочно… будто отнимаешь.[18]

— Нет, я так не хочу, — решительно отказался капризный Саматоха.

— Ах ты господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у неё лежат.

— Серёжек нет ли? — ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.

— Ну, обожди, поищу.

VII

Игра была превесёлая. Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:

— Пошёл вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай её. Постой, а где же у тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху,

---

[18] Примечания: 18

Нарóчно — здесь: для вида, понарошку, в шутку.

но сейчас же сконфузился и пожал плечами.

— Можно и без ножа. Нарочно ж…

— Нет, я тебе лучше принесу из столовой.

— Только серебряный! — крикнул ей вдогонку Саматоха.

Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:

— А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.

— Что ты, Миша! — возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы. — Почему же меня в тюрьму? Ведь ты разбойник — тебя и надо в тюрьму.

Покорённый этой суровой логикой, Миша возразил:

— Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.

— Это другое дело. Ванная — будто б башня… Хорошо?

Когда он поднял её на руки и понёс, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.

— Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?

— Это, брат, моя ложка.

— Нет, это наша. Видишь, вон вензель. Ты,

наверное, нечаянно её положил, да? Думал, платок?

— Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.

— Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.

— Экая фартовая девчонка, — умилился Саматоха. — Всё-то она знает. Ну, давай свои лапки!

Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чьё-то летнее пальто, неторопливо вышел.

По улице шагал с самым рассеянным видом.

VIII

Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребёнка к другому.

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трёхлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась её кукла размером

больше хозяйки [19] — длинноволосое, розовощёкое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унёсся в глубь парка на глазах изумлённых детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.

Минуть двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

— Ловко, — сказал он. — Поди-кось, догони.

Потом вынул замусленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.

— Эко, чёрт! Когда нужно, так и нет, — озабоченно проворчал он.

Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.

Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонив-

---

[19] Примечания: 19

Бо́нна — воспитательница маленьких детей в богатой дворянской семье, обычно иностранка.

шись к забору, принялся писать что-то.

Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

Читать можно было так:

«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства. Очень прошу не обижаться, что я ушёл тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся — засыпался бы я. А ты девчонка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить… бинокли у капельдинеров… сью куклу, мною для тебя найденную на улице… Можешь не благодарить… Артисты среди акта на аплодисменты не выходят… уважаемого тобой Мишу С. А ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ.».[20]

— Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой… не уйдёшь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:

— Свяжись только с бабой — вечно в какую-ни-

---

[20] Примечания: 20

Капельди́нер — служащий в театре, указывающий зрителям места, следящий за порядком в зале.

будь историю втяпаешься.

Вера Новицкая
Хорошо жить на свете!

Фрагмент

Ещё, кажется, я никогда в жизни так не веселилась, как вчера. Целый день такой удачный вышел с самого утра. Вообще я не прочь поспать по утрам, но вчера я вскочила в половине седьмого, ни за что не могла даже лежать от волнения: и погода беспокоила, и что мне подарят. Ещё занавески в моей комнате были опущены, села я на кровати, смотрю, между окнами что-то такое большое стоит, да впотьмах не могу разобрать, что именно. Живо я вскочила, конечно босиком, и, не заботясь о своём туалете, откинула тяжёлую тёмную занавеску, смотрю — письменный столик, совсем малюсенький и такой миленький; длины он, верно, не больше аршина, кругом решёточка, обтянут тёмно-красным сукном, внизу ящик с ключиком; перед столом прехорошенький плетёный стульчик, а на столе чудный письменный прибор, совсем настоящий и ужасно шикарный: он из такого светло-зелёного камня, довольно прозрачного, а кругом вделан в такое

будто тёмное серебро, — прелесть! Чернильница, два подсвечника с душками розовыми свечами и маленькое пресс-папье [21]. В ящике в середине двадцать штук малюсеньких премиленьких, пёстреньких бумажных фонариков; уж это, верно, мамочка, догадалась для украшения ёлки. Какая она у меня умница, всегда всё сообразит! А на чернильнице бумажка, которую я сперва и не заметила. «Нашей писательнице Мусе от горячо любящих её папы и мамы».

Вот так штука! Откуда же они узнали про моё «писательство»? Это, конечно, о моих воспоминаниях говорится. Верно, валялась где-нибудь тетрадь. Ну, да это ничего, всё равно, если они её даже и нашли, то не читали; мамочка говорит, что это нечестно чужие письма и записки читать, что это то же воровство, потому что, когда мы потихоньку узнаём чужие секреты, это как будто бы мы их воруем у другого; ну, а уж папочка с мамочкой этого никогда не сделают. Но всё-таки хорошо, что в столе есть ящик с ключом, могу теперь запирать, не от них, конечно, а мало ли кто может увидеть, если опять где-нибудь ва-

[21] Примечания: 21

Пресс-папье́ — брусок с округлым основанием, на котором закреплена промокательная бумага; также тяжёлый предмет из бронзы или камня, которым придавливают лежащие на столе бумаги.

ляться будет.


203
Velouté

А НА ЧЕРНИЛЬНИЦЕ БУМАЖКА… «НАШЕЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ МУСЕ ОТ ГОРЯЧО ЛЮБЯЩИХ ЕЁ ПАПЫ И МАМЫ»

Я так занялась своими подарками, что и про погоду забыла, а солнце-то так и светит! Живенько стала я одеваться; слышу, уж и мамочка копошится в соседней комнате, так что мы с ней как раз вместе в столовую пришли. А на столе такой аппетитный крендель лежит и несколько поздравительных карточек около моего прибора: от тёти Лидуши, от дяди Коли, от Володи и даже от Леонида Георгиевича. Для начала дня всё это более чем недурно.

Завтрак я сама заказала: цветную капусту и bœuf stroganoff, моё любимое; после завтрака, конечно, шоколад и гости.[22]

Вся наша компания пришла меня поздравлять, а Митя принёс мне даже подарок: купить он ничего не мог без денег, так он подарил мне свой брелок от часов — ветку винограда, так красиво сделаны зелёные матовые ягодки. Часов у меня нет, прицепить его некуда, но я спрячу на память в свой новый столик, который, кстати, всем-всем

---

[22] Примечания: 22

Бефстроганов (*фр.*) — говядина по-строгановски, популярное блюдо русской кухни.

понравился, и прибор тоже, так все и ахали. Но когда я им объявила, что у нас сегодня будет ёлка в лесу, так они от восторга ещё больше заахали и про столик забыли. Даже Оля и Лена и те кинулись целовать меня за хорошую выдумку. Ай да мы!

До обеда мы занялись собиранием всего нужного для ёлки; набрали три большие корзины. Кое-что обвязали, кое-что и так без ниток можно повесить. Свечи папа обещал сам приделать. Пообедали опять в половине четвёртого и пустились в путь, сами пешком, а Глаша с корзинами, самоваром, посудой, всякими вкусными вещами и ёлочными принадлежностями на тележке.

Погода точно на заказ — ни облачка.

Компания нас была в двадцать два человека (и барышня косая тоже). Первым делом стали мы выискивать красивое деревцо; долго не могли найти: то кривое, то плешивое, то засунуто между другими, так что его и не видно; наконец нашли ёлочку, которая точно нарочно для нас выросла: на маленькой полянке, кругленькая, аккуратненькая, как нарисованная. Разложили мы свои корзины и начали развешивать.

Да, на Рождество таких украшений не бывает: во-первых, навешали мы абрикосов, потом — че-

го бы вы думали? — редиски! Да, да, кругленькой, розовой редиски, потом вишен, ведь их много по две, по три попадается, так парные за стебельки и насаживали на ветки. А красиво как! Потом нацепили гирлянды из полевых маргариток и кое-где розовый шиповник, который нам по дороге попался. Затем фонарики со свечами в середине и много-много отдельных свечей — шестьдесят штук. Ёлка вышла весёлая, пёстренькая и совсем необыкновенная. Зажигать было, понятно, ещё рано, и мы в ожидании темноты стали играть в разные игры; взрослые тоже все с нами играли. Начали с серсо, потом перешли на горелки. Mr. Коршунов горел, а мы с Серёжей бежали, он хотел схватить меня за платье, да мимо, а сам зацепил ногой за кочку да и растянулся во всю длину, ну, а ростом его Бог не обидел; вот потеха была! Мы хохотали до слёз, тем более что он даже не ушибся, а только под собой раздавил семейство поганок, которые так и облепили ему белый жилет.[23][24]

---

[23] Примечания: 23

Серсо́ (*фр.* cerceau) — игра в обруч, участники которой подкидывают и затем ловят его особой палочкой.

[24] Примечания: 24

Горе́лки — старинная народная игра, в которой водящий ловит других участников, убегающих от него поочерёдно парами; название происходит от сопровождающей игру песни: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

Набегавшись и насмеявшись вволю, мы принялись за еду; не знаю, как у других, но у меня аппетит был волчий, да и другие что-то не заставляли себя просить.

Мало-помалу стало смеркаться; ведь в июле рано темнеет. Когда уже плохо стало видно кругом, папа и mr. Коршунов со своими поганками стали зажигать ёлку наверху, а мальчики, да и все мы, дети, внизу. Что это была за красота! Как ни люблю я рождественскую ёлку, но эта ещё во сто раз красивее. Что-то такое необыкновенное, точно в сказке. Кругом темно-темно кажется, а площадка с ёлочкой так ярко освещена. M-me Рутыгина предложила петь хором, и мы все, конечно, с радостью стали подтягивать.



...И КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ВСЕХ-ВСЕХ ЛЮБЛЮ, И БОГА, И ЛЮДЕЙ, И ДЕРЕВЬЯ, И ЛУНУ, ВСЁ, ВСЁ...

Ужасно я люблю ночь, и пение, и луну, а она, милая, так и стала над ёлкой. У меня что-то будто сжимается в сердце, но не грустно мне, а как-то тихо-тихо, хорошо-хорошо, и кажется, что я всех-всех люблю, особенно люблю, и Бога, и людей, и деревья, и луну, всё, всё… Даже как-то плакать хочется, а всё-таки весело…

Когда ёлка догорела, мы собрали с неё все фонарики, поели всё, что можно было с неё снять, а потом мужчины развели костёр и стали через него прыгать, мальчики тоже; и нам хотелось попробовать, но ведь в платьях неудобно, как раз юбка загорится. М-me Рутыгина запела: «Наш костёр в тумане блещет», а мы все опять хором подтянули.

Крепко-крепко расцеловала я дорогих моих папочку и мамочку за громадное удовольствие и горячо помолилась и благодарила Бога за то, что мне так хорошо живётся и я так счастлива.

Не успела я приложить голову к подушке, как сейчас же заснула.

Александр Куприн
Ю-ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички…

Звали её Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос «Ю-ю», а просто так. Увидев её впервые маленьким котёнком, молодой человек трёх лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнёс: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло [25]— Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя весёлыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом… И мы сами не помним, когда это вдруг вместо чёрно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую

---

[25] Примечания: 25

Мандари́н — здесь: данное европейцами название государственных чиновников в феодальном Китае.

кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет — невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг — палец в рот! Вздохнёт принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стёклами… да пыль от колёс и копыт…

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Тёмно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ёрш!..

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо — это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать…

Вот так. А самое замечательное в ней было — это её характер. Ты заметь, милая Ника: живём мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто — не интересуемся. Возьмём, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой — своя особенная душа,

свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей…



ВИДАЛА ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЕЩЁ ТАКУЮ НЕПОСЕДУ И ЕГОЗУ, КАК ТЫ, НИКА?

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь ещё такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками…

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осёл глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалёк умом, упрям и ленив, — его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осёл — животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно — он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осёл или человек? Лошадь — совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает её силы, и тут же подохнет от усердия…

Говорят ещё: глуп, как гусь… А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи.

Идёшь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору — гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошёл во двор — сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они… Ника, не жуй бумагу. Выплюнь… А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала. Птенцов высиживают поочерёдно — то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, по женскому обыкновению, — господин гусь выйдет, возьмёт её клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землёю, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жёсткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка всё трясёт ущемлённым ухом. А за гусем — гусенята, жёлто-зелёные, как

пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они нетвёрды — не веришь тому, что вырастут и станут как папаша. Маменька — сзади. Ну, её просто описать невозможно — такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается… И вся семья гусиная — точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь ещё одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее — трудно даже решить.

Или, возьмём, лошадь. Что про неё говорят? Лошадь глупа. У неё только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так — дура дурой, кроме того ещё, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в тёмных конюшнях, которые не знают радости воспитать её с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна

тому, кто её моет, чистит, водит коваться, поит и задаёт корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придёт освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке… За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, — конечно, если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов — лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь — член семьи. Там на неё, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребятёнок уползёт на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмёт его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мёртвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты всё-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнёт в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать ещё о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у неё кость, как верблюды… Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных

тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, — первый её деловой визит бывал всегда ко мне, и то лишь после того, как её чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щёку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нём много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».



КОРОТКОЕ «МУРРМ» ВСЕГДА ОЗНАЧАЛО: «ИДИ ЗА МНОЙ»

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моём повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя жёлто-зелёными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырёхлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял её. Чуть слышное признательное «мрм», s-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-ю скользнула в детскую.

Там — обряд утреннего здорованья. Сначала — почти официальный долг почтения — прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щёку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

— Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

— Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка — рассадник микробов…

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и неж-

нейшая дружба. Но всё-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесёт сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.[26]

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждёт говядину на крыльце, а если дома — бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив её передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом — кляк! — ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше — легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперёд и назад, как циркач на турнике. Но — молча.

Мальчуган — весёлый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а

---

[26] Примечания: 26
Размазня́ — вязкая, полужидкая каша.

в Ю-ю прямо влюблён. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд — и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в её жилах течёт голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для неё — всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На всё, что вне её дома, вне её покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять её приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги — здесь нужен большой расчёт. Жарко от летнего солнца и от тёплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернётся на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведёт меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперёд. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трёх лап — четвёр-

тая на весу для баланса, — взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырёхлапую никелевую рукоятку. Вода идёт по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два жёлтых топаза смотрят на меня с серьёзным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или ещё.

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на неё. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:[27]

---

[27] Примечания: 27

Оттома́нка — широкий низкий диван с подушками, заменяющими спинку.

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Всё равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу — только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нём много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь ещё тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнётся, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Её огромный изумрудный глаз пристально устремлён на огонь, а поперёк его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, чёрная щёлочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щёлочки вдруг превратились в блестящие чёрные круги, а вокруг них тонкие каёмки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заострённый дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за

строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, чёрных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: чёрная кровь размазана по бумаге. Пойдём спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.

За окном уже можно различить мутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка — животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это

и было правильным. Толкнёт что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И её недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла своё положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти чёрные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать её было невозможно. Да и жалко было. Через неё шагали, заходя в детскую и уходя, её толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

— Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьёзно…

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьёзно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за её звериное сочувствие…

И вот что ещё было странно. Как только в Ко-

линой болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили всё есть и даже играть в постели, — кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защёлкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот её мял и тискал, осыпал её всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его ещё слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой — немного недоверчивой, немного лукавой, немного принуждённо-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля худой, бледный, зелёный; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая — человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, вёрст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это всё очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и весёлый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей — большого и маленького — долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и всё тыкалась носом в углы. Ткнётся и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у неё это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми

жёлто-зелёными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жильё она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал её на мягкое кресло и на диван — она отказывалась, а когда я переносил её туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой тёмный, жёсткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самоё себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всём их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и наконец совсем перенесла своё место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животные — людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно,

лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперёд из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрёстную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И ещё. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырёх лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал её за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав её поперёк живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик — будь это через две недели, через месяц и даже больше, — стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся ещё на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван

или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудрёного в том, — думал я, — что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан её любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял её к себе на колени — иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел весёлый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

— Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

— Какие слова? Я не знаю никаких слов, — скучно отозвался голосок.

— Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

— Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?

— Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

— Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щёлкнуло, крякнуло, и из неё раздался резкий голос телефонистки:

— Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.

Лёгкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовётся ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и всё про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живёт кот-воркот, бархатный живот. О нём,

милая моя Ника, в другой раз.


Een Prettig Nieuw Jaar

В ТРУБКЕ ВДРУГ ЧТО-ТО ЩЁЛКНУЛО, КРЯКНУЛО И РАЗДАЛСЯ ГОЛОС: «НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ГЛУПОСТИ»

Лидия Чарская
Кошка

Урок педагогики подходит к концу. Пожилой учитель с синими очками и с крупной гладкой лысиной, объяснив заданное к следующему дню, спрашивает одну из лучших учениц класса.

Раиса Селиванова, полная рослая блондинка, самая усердная из всех семиклассниц, очень толково и последовательно докладывает учителю о логике души ребёнка.

Голос у Раисы монотонный и мягкий, как бархат. Под этот голос можно уснуть. А глаза у Раечки прозрачные, спокойные, всегда одинаково сияющие, ровные безмятежные глаза. У Маруси Капоровой совсем другие. Чёрные, небольшие, как изюмины, круглые Марусины глазки полны беспокойства и тревоги. Маруся волнуется как никогда. Это видно по всему: и по глазам, и по дрожащим губкам, и по той особенной манере крутить скромное бирюзовое колечко, к которой прибегает Маруся в исключительно трудные минуты жизни. Дело в том, что Маруся, будущая медалистка, следующая за Селивановой вторая

по достоинству прекрасная ученица, к сегодняшнему дню не могла приготовить урока так, как бы должна была его приготовить вторая по классу ученица. Вчера вообще уроки как-то не особенно укладывались в голове Маруси.

Приехала её кузина из заграницы и целые часы трещала о прелестях Европы, заставляя ахать и восторгаться ничего не видевшую, кроме длинных петербургских улиц, Марусю.

Само собой, что педагогика совокупно с другими уроками уступила своё место более приятному времяпровождению. Когда Маруся спохватилась, было уже за полночь. Кое-как прочитав заданное к следующему дню, она уснула с тем, чтобы на следующий день познакомиться поближе с логикой души ребёнка.

Однако утром Маруся проспала и только-только успела попасть к самой молитве в гимназию, за что и получила замечание со стороны классной дамы.

Сейчас на уроке педагогики Маруся как на иголках. У Степанова (педагога) есть одна весьма странная привычка. Он имеет обыкновение спрашивать гимназисток по достоинству их учебного преуспевания. Так, после первой ученицы Селивановой он во что бы то ни стало спросит её

— Марусю. Это уже наверное и может считаться вполне свершившимся фактом. Маруся очень волнуется этим сознанием и наскоро торопится повторить урок. Говоря снисходительно, она его знает, но… не настолько, чтобы ответ её был бы достойным ответом второй ученицы класса.

И больше тройки педагог, при всей его снисходительности, вряд ли поставит ей, Марусе. А получить тройку после пятёрки — перспектива не из сладких. К тому же она, Маруся, имеет одним баллом только больше следующей ученицы Азовой, и, если по педагогике выйдет четыре в среднем, ещё вопрос, кому — Марусе или Азовой — достанется золотая медаль, вторая награда!

Мысли Маруси скачут с удивительной быстротой. Селиванова между тем оканчивает свой ответ, и педагог отпускает её на место.

Маруся как сквозь сон слышит произнесённую им её собственную фамилию. Встаёт. Бледнеет и идёт отвечать. Всё кончено. «Вторая золотая» улыбнётся ей только. Это уже наверное.

И сердце Маруси упало.

«Хоть бы что-нибудь помешало! Хоть бы что-нибудь случилось такое, что задержало бы на время ход урока, а то… а то… Прости-прощай вторая награда!»

Соседка Маруси, её подруга Катя Шмырёва, настоящая сорвиголова, несмотря на свои семнадцать лет, посвящена в тайну Маруси.

Она знает всё: и про «заграничную» кузину, и про злополучную логику, и про не менее злополучную медаль. По лукавому лицу Кати, скорее подходящему своим типом к развесёлому мальчишке кадету, нежели к взрослой семнадцатилетней барышне, проползает облачко раздумья. Бойкие глаза Кати на минуту скрываются за тёмными ресницами. Потом раскрываются широко и сверкают, как молнии, на милом бедовом лице.

Понурая бледная Маруся стоит у кафедры.

«Сейчас! Сейчас! — испуганно выкрикивает её сердце. — Сейчас! Сейчас!»

«Что посеешь, то и пожнёшь!» — совсем уж некстати приходит ей на ум истина из прописной морали. Она раскрывает рот, готовая начать то, о чём имеет довольно-таки скудное представление, как неожиданно из угла класса слышится тихое:

— Мяу! Мяу! Мяу!

— Степан Фёдорович, в классе кошка! — почтительно поднимается дежурная с ближней скамейки.

— Ай, кошка, она может быть бешеная! — испуганным голосом шепчет маленькая Инсарова,

трусиха, каких мало, боящаяся, кажется, собственной тени.

— Мяу! Мяу! — уже много громче проносится по классу жалобное кошачье мяуканье.

— Кошка забралась под скамейку, Степан Фёдорович! Позвольте её выгнать!

Это говорит Катя, и её мальчишеское лицо так и горит желаньем выкинуть что-либо не соответственное строгой гимназической обстановке.

Учителю далеко не улыбается перспектива вести урок под оглушительное мяуканье кошки, бог весть откуда попавшей сюда. Поэтому он даёт лаконическое приказание «найти и выбросить за дверь».

Поднимается невообразимая возня. Гимназистки с особенным удовольствием лезут под скамейки, и поднимается охота за кошкой. Они ползают по полу, ищут очень старательно, сталкиваются друг с другом, фыркают от смеха и ползают снова, тщательно вбирая в свои форменные платья и передники всю пыль, какая только имеется на полу.

Кошке, очевидно, приходится не по душе охота за ней. Её мяуканье приобретает ещё более жалобный оттенок. Кошка точно молит о пощаде.

— Мяу! Мяу! Мяу! — слышится то в одном углу

класса, то в другом.

Нечего и говорить, что при всём желании педагог не может спрашивать урока. А Маруся не имеет возможности его отвечать. В классе такой шум и суета, как будто сюда забралась не одна кошка, а целый десяток их, по крайней мере. Маруся с замирающим сердцем незаметно опускает глаза вниз и смотрит на часы, вынутые из кармана.

О, радость! Радость! До окончания урока осталось всего две минуты! И если благословенную кошку не успеют извлечь на свет божий, то она, Маруся, спасена! Положительно спасена!

Между тем охота под партами продолжается с неменьшим рвением. Все невольно принимают в ней участие. Даже степенная, тихая, серьёзная Селиванова ходит в промежутке между рядами скамеек и умильным голосом зовёт:

— Кис! Кис! Кис!

— Мяу! Мяу! Мяу! — отзывается ей не менее умильно невидимая кошка.

— Дзинь! Дзинь! Дзинь! — неожиданно раздаётся в коридоре спасительный звонок.

— Ух, — облегчённо вздыхает Маруся и даже вытирает капельки пота, выступившие на лбу.

Педагог кивает ей головою и смотрит на уче-

ницу, как точно извиняется, что не удалось доставить ей удовольствие новой блестящей отметкой.

— До следующего раза! — говорит он ласково ей в утешение. — Видите сами, какая непредвиденная помеха! — И, раскланявшись с классом, спешит в учительскую.

Маруся ещё раз вздыхает счастливым, облегчающим душу вздохом.

— Ах, как хорошо! Как всё это хорошо! — вырывается из её уст. — Милая, милая благодетельная кошечка, дай мне расцеловать тебя! — И она тоже становится на колени у ближайшей скамьи, готовая заодно с другими пуститься на поиски своей спасительницы.

Неожиданно перед ней появляется растрёпанная голова Кати, её серая от пыли фигурка и смеющееся всеми чёрточками весёлое, задорное лицо.

— Целуй! — тоном, не допускающим возражений, командует Шмырёва и подставляет Марусе разрумянившуюся щёку.

— Это за что? — недоумевает та.

— За что? Ах ты неблагодарная! — разражается шалунья весёлым смехом. — А что, по-твоему, даром я должна была мяукать как сумасшедшая

целый урок?!

— Как… разве ты?..

— Ха-ха-ха! Ну да, я, конечно, я — кошка. Я и мяукала, я и ползала, я и выручила тебя… Не делай, пожалуйста, такого трагического лица. Всё обошлось прекрасно, и тебе остаётся только расцеловать меня покрепче! А в следующий раз… получше выучить урок, — добавляет чуть слышно шалунья, — потому что, согласитесь сами, Марья Андреевна, не каждый раз могут забираться кошки на урок к семиклассницам. Не правда ли?

— Милая моя Катя! — И Маруся со смехом целует подругу, запыхавшуюся и красную как рак.

Кругом смеются. Никто не ожидал подобного исхода. А расшалившаяся Катя закрывает фартуком рот и под общий смех выводит, бесподобно подражая кошке:

— Мяу! Мяу! Мяу!

REPUBLIQUE FRANÇAISE
POSTES
5c

«АХ, КАК ХОРОШО! КАК ВСЁ ЭТО ХОРОШО!» — ВЫРЫВАЕТСЯ ИЗ ЕЁ УСТ